

Павел  
Сутин

# апостол или памяти савла



Повесть  
о честной службе  
и странной гибели  
офицера  
Севелы Малука,  
прозванного много после  
апостолом Павлом,  
и о некоторых событиях,  
случившихся  
в Сирийской Провинции  
в правление  
принсепса  
божественного  
Кая Юлия  
Калигулы

Роман

Павел Сутин

**Апостол, или Памяти Савла**

«WebKniga»

1994

**Сутин П. Р.**

Апостол, или Памяти Савла / П. Р. Сутин — «WebKniga», 1994

Христианство без Христа, офицер тайной службы, которому суждено предстать апостолом Павлом, экономическое и политическое обоснование самого влиятельного религиозного канона на планете – в оригинальном историческом детективе, продолжающем традицию Булгакова, Фейхтвангера и Умберто Эко.

© Сутин П. Р., 1994

© WebKniga, 1994

## Содержание

От автора	6
Апостол, или Памяти Савла	7
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Павел Сутин**

## **Апостол, или Памяти Савла**

© Павел Сутин, 2015

© Валерий Калныныш, макет и оформление, 2015

© «Время», 2015

\* \* \*

## От автора

Первое – об использовании названия, звучавшего прежде. Книга с названием «Памяти Савла» уже издавалась десять лет тому назад. Это была беспомощная и вторичная книга (я называю тот текст «книгой» только потому, что он был в итоге исполнен типографским способом). Ее издал Владимир Панченко исключительно из доброго ко мне отношения. Настоящая книга имеет мало общего с вышеупомянутой. Второе – о плагиате (обвинения вероятны). Однажды я прочел остроумную статью «Кто убил Иисуса Христа?» – ее содержание почти полностью приводится в письме Луция Кассия Лонгина к Сексту Афранию Бурру. Та статья (она указана в разделе «Библиография») побудила меня вновь обратиться к опробованному сюжету.

Третье – о развязной интерпретации. Эта книга ни в коей мере не претендует на историческую реконструкцию. Исторический роман я считаю самым трудным и интересным из всех *литератур*, и не посягаю на этот жанр. Вольное использование нынешней терминологии применительно к событиям первого века новой эры, таким образом, должно быть мне извинено.

Выражаю глубокую признательность Ефиму Наумовичу Улицкому, знатоку иудаики, библиотекарю и архивариусу Московской синагоги, что в Большом Спасоглинищевском переулке. Ефим Улицкий дружелюбнейше помогал мне литературой и экспертизой. Никогда не забуду его великодушные слова: «Ах, Павел, резвитесь, сколько вашей душе будет угодно. Явных несообразностей я в этом тексте не нашел. А что до деталей... Кто там помнит, как оно было на самом деле?»

## Апостол, или Памяти Савла

*...А Савл терзал церковь,  
входя в дома, и, влача  
мужчин и женщин,  
отдавал в темницу...*

*Деяния, Глава 8, стих 3*

*Потные, мордатые евреи,  
Шайка проходимцев и ворья,  
Всякие Иоанны и Матфеи  
Наплетут с три короба вранья!..*

*«Клятва возждя»*

- ...шутки! погоди, ты что такое говоришь?!
- Я не идиот, чтобы так шутить!
- Что еще он сказал?
- Удалили селезенку и почку. Еще повреждена... Ну слово такое, красивое!..
- Плевра?
- Нет. Перегородка, такая...
- Диафрагма?
- Да! И еще это... Черт, да я не понимаю этих слов! Сеня, поезжай сам туда, ладно?
- Я сейчас позвоню в реанимацию.
- Сеня, позвони, пожалуйста! И поезжай, ты там всех знаешь!
- Послушай... А до операции он в сознание не приходил?
- Да какое там!
- Что еще известно?
- Его нашла какая-то тетка. Выгуливала собаку часов в двенадцать, а он лежал за машиной. Он там бог знает сколько пролежал, в снегу.
- Тёма, не части, я тебя прошу! Что еще сказал Шишкин?
- Кто? У тебя что-то трещит в трубке.
- Заведующий реанимацией – что он сказал Никону?
- Сейчас, момент, я записал. Проникающее ранение брюшной полости, ранение селезенки и правой почки.
- Кто его оперировал? Шнапер? Чистов?
- Да не знаю я! Мильтоны вызвали «скорую», его отвезли в Первую градскую. Они записную книжку нашли в куртке. Там на первой странице написано «Наши». И телефоны. Никона телефон. Они ему позвонили ночью, описали его, Никон его и опознал с их слов. Частника поймал чудом, приехал в полтретьего в Первую градскую. Ему операцию делали в это время.
- Вот беда.
- Что? Сеня, громче говори! Я тебя плохо слышу. Я сейчас Гаривасу позвоню.
- Я сам ему позвоню. И тебе позвоню, будь на телефоне.
- Никон сказал, что там плохие дела. Мало шансов.

- Так, сейчас половина восьмого. Позвоню тебе часа через два.
- Ну как так? Посреди Москвы...

\* \* \*

– ...что я скажу. Ты, майор, много воли взял себе. Молчи! Ты крутишь шашни с Каиаху, ты усылаешь дамасскую центурию куда вздумается, ты арестовываешь проповедников по своей прихоти, а после выпускаешь их из-под стражи без соблюдения протокола! Я закрыл глаза на поход Агерма, но Агриппа Руф из Тира направил жалобу в особую канцелярию принсепса. Руф негодует и доносит о самоуправстве Траяна Агерма. Коли ты не знаешь, так я тебе скажу. Принсепсом нынче учреждена особая канцелярия «a libellis». Там разбирают письма о злоупотреблениях магистратов и прокураторов. До меня дошел слух, что в Ерошолоим посланы с инспекцией децумвиры!

– Тебе есть, что им ответить. Это обычная экспедиция. Ты и Вителлий получили известия о лагере зелотов близ Тира. Туда отправлена центурия Агерма.

– Меня не надо учить, что говорить инспекторским. Но им станет известно о дезертире! Это пятнает мою резидентуру, это пятнает меня!

– Поверь, господин мой Светоний, что я легко заморочу головы инспекторским.

– И как же ты это сделаешь? Дезертировал офицер из уроженцев! У него имелись отличия, о нем упоминали в послании к принсепсу!

– Так я разьясню децумвирам, что на деле не было никакого дезертирства! Мы инсценировали предательство, и храбрый офицер нынче входит в доверие к зелотам.

– На все у тебя есть ответ... А ты верно знаешь, что он мертв?

– Скажу тебе прямо, господин мой Светоний: я не уверен в том, что он мертв. Эти олухи в Дамаске поспешно захоронили тело, а скрупулезного опознания не провели. Они, видите ли, нашли жетон. Так что с того? Лицо-то было изуродовано. Он бывал во всяких делах, он мастер на такие трюки. Но вот за что поручусь – он никогда не объявится под прежним именем. Он погиб или предстанет другим человеком. С другим именем и другой судьбой. И всем инспекторским, что только есть на Палатине, не доказать, что из Ерошолоимской резидентуры дезертировал офицер.

– Как могло случиться такое? Он был отменным офицером!

– Я уже неделю думаю об этом, господин мой Светоний. Вспоминаю наши с ним разговоры, наши дела и споры. Видно, просчитался я, когда...

\* \* \*

**«Неужели когда-то, где-то, кому-то это время покажется интересным? Неужели кто-то – с любовью и грустью – станет описывать это время? Вспоминать, исследовать, рисовать – так же, как рисовались дос-пассосовский Нью-Йорк, джойсовский Дублин, как хэмовский Париж двадцатых, как зимний Петербург „Других берегов“? Я же это время ненавижу. С той самой поры, когда мне стала понятна категория «мое время». Имя ему – тоска. Ненавижу одинаковые панельные города, загаженное Замоскворечье, угрюмо-зеленый школьный коридор, отцовский партстаж – «мы верили, мы трудились, такое время было». Чего только ни вместилось в эту мою ненависть. Штабеля банок с баклажанной икрой в гастрономе на Пятницкой. Тошнотные, брылястые морды генсеков. Безбрежный кумач, что полощется по огромной стране – от края до края. По стране, безудержно счастливой от надоев, выплавок, бамов и вьетнамца с афганцем на орбите. У меня никогда не получалось с юмором относиться к очереди за кроссовками. К Первوماю, двум телекана-**



лам, интернациональному долгу, жидкой сметане и дацзыбао с чугунным названием «Правда». Никакого юмора – одно унижение. Как в той песенке: «И в передышке все забыто – короткий век, угрюмство быта. И все трагичное смешно». Угрюмство быта. Умри – лучше не скажешь. Как Борька Полетаев говорил: «Я не знаю, существуют ли параллельные миры. И ДНК принимаю лишь на веру, своими глазами не видел. И черные дыры для меня непостижимы. Но я совершенно точно знаю, что никогда не увижу города Пуэрто-де-ла-Крус, где дома из желтого известняка, где пальмы на набережной зелеными метелками. И где никто не знает, что такое норма отпуска в одни руки». Хотя... Это ведь тоже фактура – «мое время». Обстоятельства действия, так сказать. Всегда, при всем бессердечии нравов, найдется место интересности. Всегда, ей-богу! Вот описана, к примеру, Москва шестидесятых и семидесятых. Трифоновым описана. Ох, елки-палки – как описана и живописана! Так, что мороз по коже от виртуозного пера. Пера, точного и жесткого, как кольт. И мягкого, как беличья кисточка династии Минь или, там, Цинь. А время-то как он преподнес! Запахи времени, вонь его, затхлость. Но – и с дуновениями, с пряностями! Как будто провел ладонью по времени и все ощутил. Все шершавинки, пупырышки и царапины. И ведь это, черт подери, больше чем литература – это гуманитарная микробиология! Так скрупулезно выписать обидки и победы, судьбочки и счастья... И все это в контексте и подтексте брутальной державы... Чего это я разошелся? Вова Никоненко называет такие размышления: «нести пургу». Я сейчас несу типичную пургу. Непременно надо в пятницу съездить к Сене. Он расскажет какую-нибудь историю про Талейрана, Уильяма Питта или лорда Дизраэли. Он раскурит ароматную трубку и нальет в хрустальные рюмки армянского коньяка из академического стола заказов. Сень барственно опустится в кожаное кресло, мы выпьем по рюмке, я закурю «Дымок». И жизнь заиграет, и я перестану нести пургу. А может, позвать мужиков к себе? В пятницу? У Тёмки, говорят, новая барышня. Никоненко прооперировал технолога винодельческого совхоза из-под Кутаиси. Значит, будет хорошая выпивка – «Эгриси» или даже «Греми». Да, в пятницу. А то что мы все у Сени да у Сени?..»

Непременно надо собрать мужиков до отъезда. Он улетит двадцать девятого и вновь увидится с мужиками только в будущем году.

Каждый год в конце декабря он привычно ехал в Домодедово («У нас с друзьями есть традиция. Тридцать первого декабря мы ходим в баню»). А билет заказывал в начале месяца. Он молод, у него пока немного крепких привычек, обыкновений и ритуалов, но одно правило соблюдал – Новый год встречал с родителями.

«Салон» собирался по пятницам. Первым пышное слово «салон» произнес Вова Никоненко. Они собрались у Сени отпраздновать кандидатскую Бравика. Приехали из пятидесятой больницы, где проходила защита, торопливо накрыли стол. Настроение царило приподнятое. Вот оно, началось – пошли кандидатские, а там и докторские пойдут, взрослеем-мужаем! Бравик защитился прекрасно, вел себя на защите непринужденно. Только чаще нужного проводил ладонью по редким волосам (у Бравика намечалась лысина, но это, как ни странно, ему шло, завершало солидный образ). Академик Кан после защиты, пожимая Бравику руку, сказал: «Для работы такого уровня вы, Григорий Израилевич, не в обиду будь сказано, очень молоды. Тем отраднее видеть... Прекрасно начинаете».

Тёма Белов, хихикая, прошептал на ухо диссертанту:

– Опосля зазвал в свою вотчину и сказал при всем окружении...

Итак, они вернулись с защиты, открыли шпроты, нажарили картошки. Порезали селедку, вывалили в пиалы лечо, достали из холодильника «Байкал»

и «Дюшес». Сеня величественно поставил на стол три бутылки «Ахтамара», и все зааплодировали. Тёма заломил бровь и сказал из «Хождения по мукам» (там красноармеец так говорил Рощину):

– То-то оно и видно, милоч, что ты из богатеньких.

И еще так получилось, что все оделись неповседневно. Несвойственным образом. Например, почти все оказались при галстуках. А Никоненко, Сергеев и диссертант надели костюмы.

Никон аккуратно разлил по рюмкам коньяк, выпрямился, посмотрел на мужиков и обнаружил, что тут чуть ли не светский прием. Громила недоуменно оглядел друзей и пробормотал:

– Это... Короче... Ничо себе! Салон!

Все расхохотались. И верно, странно было видеть мужиков при таком параде. А после, уже не сговариваясь, приезжали к Сене в брюках, наглаженных рубашках и в галстуках. И, ей-богу, в этом что-то было. Еще не стиль, но уже некая манера.

– Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! – веселился Тёма. – Ответим вселенскому хаму аккуратным внешним видом!

Он тогда сказал Тёме:

– Знаешь, что мне особенно нравится в «Семнадцати мгновениях»? Как он картошку печет в сорочке и пуловере. И листья сгребает в отглаженных брюках.

А Никон как-то сказал за столом Генке Сергееву:

– Гена, будь добр, подай, пожалуйста, зажигалку.

Надо знать Никона, чтобы прочувствовать элегантность этого «будь добр». Да нет же, громила совершенно нормальный человек. Вежливый, негромкий, вечно старушек подсаживает в троллейбусы. Он внешне впечатляет, это да. Плечи, руки, шея, как секвойя, хулиганье за версту обходит, милиционеры обращаются исключительно на вы. Но чтобы так непринужденно, за столом, другу: «Будь добр, подай, пожалуйста»!

Гена тогда принес к Сене бутылку виски «Белая лошадь». Эта коняга Генке обошлась рублей в сорок. На Калининском продавался «Камю» по шестьдесят и «Белая лошадь». Прежде они виски не пили, был иной стандарт роскоши – армянский коньяк. На «салонах» пили «Ахтамар». Но и «Арагви» по четырнадцать был очень даже прекрасен! (Великолепно, кстати, шла и «Пшеничная», и «Московская» пролетала нормально, да и «Русская», в общем, не застревала.) Короче говоря, они несколько месяцев играли в респектабельных джентльменов посреди развитого социализма. А потом Вова Гаривас прикрыл этот цирлих-манирлих, когда явился к Сене с бабочкой и в цилиндре. Настоящий цилиндр – где взял? Одному богу известно.

Посмеялись и вновь стали приходить в джинсах.

Почти всегда встречались у Сени Пряжникова на Метростроевской. Летом съезжались на Сенину дачу в Перхушково. А в прочие времена года – на Метростроевскую. Дядя Петя, Сенин отец, эти встречи одобрял. А сам Сеня легко вошел в роль хозяина салона.

– Уютнее жить, благородные доны, когда мы собираемся вот так, ввечеру, – бархатно говорил Сеня. – Выпиваем добрый коньяк и говорим весело и неспешно. Так мы отгораживаемся от грубых реалий и тусклых лет.

– Слушай, Сеня, – сказал он однажды. – Что за представление мы тут устраиваем? Три мушкетера, дьявол раздери, три товарища. Девять дней одного года, семь самураев, четыре танкиста и собака. Мы же, вроде, взрослые люди? Ты уверен, что это не театральщина?

Сеня усмехнулся и ответил:

– Славные люди собираются, Мишка. При чем тут, скажи, театральщина?

Сеня взял с кресла семиструнную гитару и пропел:

Надоело говорить и спорить,  
И любить усталые глаза.  
В флибустьерском дальнем синем море  
Бригантина поднимает паруса.

А он тогда отреагировал быстро (у них принято отвечать в тон, не задерживаясь), он прищурился и продекламировал:

Романтика, романтика небесных колеров.  
Нехитрая грамматика небитых школяров.

Он уже и представить не мог, что когда-то у него не было этой компании.

«– Никон пришел?.. Никон, слушай, это – что-то! Он опять поставил мне в этом месяце десять дежурств!..

– Генка, чисти картошку, твоя очередь!

– ...даю на три дня, и ни минуты больше! Мы с Ольгой вчера читали, ржали до судорог! Мне больше всего понравилось про то, как они Ломоносова ваяли. Только не затевай ксерить, я уже договорился, отксерят. Чудо, а не писатель! Он в Таллине жил, сейчас в Нью-Йорке...

– Сень, а где мои тапки?.. А при чем тут Берг? Берг, е-мое, ну сколько раз я просил!

– ...жрать хочу. Дайте тушенки!

– Только погаси, пожалуйста, папиросу, и не надо так размахивать руками. Что именно он тебе не дает оперировать? Простатэктомия? И правильно, что не дает.

– Сеня, я сосну часика два. Нет уж, как борщ поспеет, так ты меня разбуди...

– Да пошел ты!

– Да пошел ты сам!

– Тихо! Тихо, мужики! Давайте думать, что Бравику подарим. Помните – как в том анекдоте: «Книга у него уже есть». Думайте!

– Какой Алан Силлитоу? Это детский сад...

– Вот это вот место, Гена. Это древняя вещь – «Whiter shade of pale», шестьдесят седьмой год.

– Гена, как там картошка?

– ...офигительная девчонка! Трахаться хочет – как Филипок учиться...

– За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся мечом и огнем, и позором вранья...

– Гена, ты посолил? Так посоли же! И укропчику туда, укропчику!»

Он уже не представлял своей жизни без этих вечеров, без этих голосов.

Экселенц третий год отпускал его на «рождественские каникулы». Осталось собрать мужиков перед отъездом. И еще надо было прекращать эти страдания с йодированием. Нерационально получалось. Громоздко, грязно, вонюче, и выход получался невысокий. А главное – все это было тривиально.

– Миха, надо что-то выдумать, – сказал Димон три дня тому назад. – Что с фильтром? Порешай эту проблему, и все пойдет.

Он ответил:

– Ну да. Возьми, значит, и «порешай». Вынь да положь. Мне грифель нужен. Много грифеля. Анод должен быть полым, ясно?

– Зачем полым? – спросил Димон. – Грифель, ну, это понятно. А почему полым?

– А потому полым, – сказал он, – что надо его охлаждать изнутри. Анод будет нагреваться. Раствор нагреется, и поры в фильтре забьются.

– Понимаю, – пробормотал Димон. – Верно, нужно охлаждать. А чем?

– Да водой же, чучело! – сказал он. – В аноде должна циркулировать вода. Теперь про фильтр. Надо сделать большой стакан из необожженного фарфора, поставить этот стакан внутрь большой емкости. А анод – внутрь стакана. И все это дело заливается электролитом. Фарфоровый стакан станет фильтром, ясно? Готовая посуда не пойдет. Она из обожженного фарфора, а там поры заплавлены.

Тут Димон вспомнил, что одна из его барышень закончила Строгановку и теперь работает в Гжели.

– Фарфор будет, – сказал он. – Фарфор не проблема. И грифель не проблема – у меня батареи есть. Армейские, купил у одного по случаю. Ну ладно, давай так. Ты займись анодом, а на мне фарфор.

И они сели ломать разъемы. Паскудное это было занятие – ломать разъемы. Сидели, крошили прочный эбонит кусачками, царапали руки и матерились. Скусывать с плат легче, но в разъемах намного больше материала. Пока ломали разъемы, Димон рассказывал про батареи. А он вполуха слушал и думал, что систему охлаждения можно смастерить из водоструйного насоса. Насос в прошлом году списали, но поломка в нем пустячная, поправимое дело. А полость для охлаждения в грифеле можно высверлить электродрелью.

– Дима, будь осторожнее, – напомнил он. – Максимальная осторожность!

– Мы, кажется, договорились обо всем? – благодушно сказал Димон. – Ни о чем не беспокойся. Все будет чики-чики.

Однако Дорохов волновался. Он волновался всякий раз, когда думал о том, что происходит за рамками его задачи. Рассчитать, сколько нужно едкого натра, придумать, как лучше всего гасить «лисий хвост», – это было внутри рамок. Аффи-наж, посуда под кислоты, сами кислоты и скупка проявителя (на реакции уходило много щелочи, они в огромных объемах покупали проявитель в «Кинолюбители» на Соколе, в пакетиках по шесть копеек) – это было внутри рамок. Вне рамок был поиск покупателей, передача продукта, получение денег, и он не представлял, как все будет. Только деньги представлял – крепкие пачки красных десятков, заклеенные крест-накрест бумажными трехполосными лентами, плотно уложенные в «дипломате» с никелированными замками.

Зазвонил телефон.

– Да...

– День добрый, – сказали из трубки. – А Александра Яковлевича можно услышать?

– Александр Яковлевич не по этому номеру, – ответил он.

Экселенц в кабинете не бывал подолгу. И его разыскивали по всем телефонам лаборатории.

– А у него не отвечает.

– Тогда не знаю. Что-нибудь передать?

– Это Гольдфарб беспокоит.

Ого! Он знал, кто такой Александр Давидович Гольдфарб. Старинный друг экселенца, известный диссидент и завлаб. Только в отличие от их «лаб» на Вар-

шавке, та «лаб» находилась в Колумбийском университете, государство U.S.A., город N.Y., штат одноименный.

– Это Дорохов Михаил, – сказал он. – Александра Яковлевича сейчас нет. Кажется, он у Дебабова. Я передам, что вы звонили.

– Передайте, пожалуйста, Миша, будьте так любезны, – сказал Гольдфарб. – А ваши дела как?

Надо же, Гольдфарб его помнил. Они виделись мельком в кабинете у экселенца. Экселенц проворчал, кивнув на любимчика: «Полюбуйся, Алик, – еще один талантливый бездельник».

«Талантливый бездельник это хороший сотрудник, которого плохой руководитель не загрузил работой, – сказал Гольдфарб, потягивая чай в кресле экселенца. – Саша, ты дай мне парня на полгода. Верну шелковым, и с готовой докторской. Ей-богу».

– Спасибо, Александр Давидович, хороши мои дела, – ответил Дорохов. – Все у меня в порядке.

– Я уж больше не стану звонить, Миша, у нас тут первый час. Лягу спать, поскольку устал от трудов. Вы, Миша, если не затруднит, передайте, пожалуйста, руководству, что я руководству завтра позвоню в это же время. Хорошо? Как ваша докторская? Зреет?

Дорохов польщенно засопел.

– Не будем спешить, – сказал Дорохов степенно. – Научный труд надо выстрадать. Им надо пропотеть. Поспешность неуместна. И не факт, что моя докторская нужна человечеству. Как говорит экселенц: кандидатские диссертации тем выгодно отличаются от докторских, что пишутся докторами. В то время как докторские пишутся кандидатами.

– Ну-ну, – сказал Гольдфарб. – Вы чем сейчас занимаетесь?

– Обращенно-фазовой хроматографией. Панкреатической эрэнказой. Собственно, чем занимался, тем и занимаюсь.

– Да-да, я помню. Я почему спросил – у нас с вашим шефом есть кое-какие общие планы. Впрочем, он сам вам расскажет. До свидания, Миша. Рад был вас услышать.

– Всего доброго, Александр Давидович, – Дорохов положил трубку.

Короткий разговор с Америкой Дорохова немного взволновал. Гольдфарб сказал: «кое-какие общие планы». Дорохов в последнее время замечал, что шеф чаще прежнего разговаривает с Гольдфарбом по телефону, посылает ему статьи. Лаборатория Гольдфарба занималась, в числе прочего полезного, жидкостной хроматографией пептидов. Точек соприкосновения у старых приятелей имелось более чем достаточно. Экселенц же в последнее время выглядел оживленно и даже мечтательно.

Две недели тому назад Дорохов напрямую спросил его про статьи и про телефонные звонки. Сказал, что, как он замечает, беседы шефа с Гольдфарбом перестали носить частный характер. Экселенц в ответ обаятельно улыбнулся.

Дорохов однажды пошутил: «У вас, Алексан Яклич, внутри есть специальный приборчик – „обаятель“. Вы его периодически включаете в различных режимах мощности».

Времена менялись не на шутку. Дорохову было известно, что один парень из Молгенетики уехал в июле «на стажировку». Поговаривали, что уехал запросто, безо всякой райкомовской бодяги. Отправился на стажировку в State New York University, как будто на преддипломную практику на фармкомбинат в Олайне Лат-

вийской ССР или на конференцию в Варне. И когда Дорохов пил чай с Гольдфарбом и экселенцем, тогда, весной – он внимательно прислушивался к разговору двух насмешливых мэтров.

«Три китайца, индус, два пуэрториканца. Паренек из Миннесоты и девочка из Нью-Джерси, кореянка, Джук Ян. Такие пироги, Саша. Нашу науку делают иностранцы. Это, старик, общепризнанный факт».

Дорохов все понял. Когда Гольдфарб говорил «наша наука», он имел в виду науку американскую. И следовало из тона Гольдфарба, что советские ученые тоже имеют полное право делать американскую науку. И что в ближайшее время советские ученые смогут заняться этим так же легко и просто, как пуэрториканцы с китайцами.

Слышать это было непривычно.

Не верилось, что все это по-настоящему. Что очередь за «Московскими новостями» – на самом деле. Да и было уже что-то подобное. Пятьдесят шестой год, доклад Хрущева, стихи на «Маяковке», всеобщая радостно-недоверчивая оторопь, и щенки – пылкие, уповавшие на «истинный марксизм», и сбивчиво лепетавшие о «ленинских нормах». Однако в пятьдесят шестом танки шли по Будапештским мостам.

Не верилось, что все кончается. Просто протухла советская эпоха и стала рассасываться. И Гольдфарб с экселенцем на полном серьезе разговаривают о том, что для экселенца есть хорошее место в Сан-Диего. Елки зеленые – хорошее место! Это все равно что: «Тут есть одна неплохая планетка рядом с Проксимой Центавра. Не Волосы Вероники, конечно, туда не пробиться, но, однако, и не Волопас, с его дурным климатом и вредным для здоровья жестким излучением». Гольдфарб говорил: «Сразу, Саша, начинай присматривать ребят. Диплом биофака это, как у нас говорят, брэнд. Учи уму-разуму талантливых бездельников, пусть статьи подбирают, резюме пишут, английский подтягивают».

И теперь, после приезда Гольдфарба (запросто, кстати, приехал «отказник», почетный клиент КГБ и сподвижник академика Сахарова – тоже примета времени!), Дорохов совершенно ясно понимал: экселенц метит в Штаты. И, допуская эту вероятность, ощущал нервозность. Не от того, разумеется, была эта нервозность, что экселенц бросит его с недописанной докторской. Это исключено. А оттого, что экселенц полусхуит может сказать однажды, что Дорохову пора собирать чемодан. Поскольку Дорохов с экселенцем завтра отправляются в Нью-Йорк, в Калифорнию, на Альдебаран.

*«Сразу, Саша, начинай присматривать ребят».*

*«Мы же не хуже других. Да лучше мы, чего там».*

Дорохов сел в тонконое креслице, поставил на колено чашку Петри, достал из нагрудного кармана синего халата надорванную пачку «Дымка» и закурил.

Вот странное дело: позвонил из зазеркалья Гольдфарб, нездешний уже человек, весело потрепался с Дороховым – и Дорохов начал фантазировать о том, как они с экселенцем отринут прах.

«Я давно уже ненавижу все это. Субботники, очереди... Ложь официальной истории... Господи, ну это же все знают, каждый, кто читать и думать умеет – знает. Ненавижу все эту мерзость, вранье... Убивают. Елки зеленые, они же убивают все время. Вся новейшая история – одно сплошное убийство. Все их днепрогэсы на убийстве, магнитки, великие победы – все на костях! Меня трясет, когда я их рожи брылястые вижу. Андропов, говорят, стихи писал и в винах разбирался. А Гитлер пейзажи рисовал – тоже художественная натура... Стихи он писал, гадина,

морда холеная, глаза оловянные. А Сашку Лифшица превратили в инвалида. За что? Еврейский язык преподавал. Ребят готовил к отъезду. Сунули парня в Сербского. Сульфазин-аминазин, вязки... Ривка мужа не узнала, когда ее к нему пустили. Какие, к черту, стихи, какие вина?! Я к ней приехал, сидим с ней на диване, я ее по голове глажу... Она подстриглась, как мальчишка, волосы короткие, мягкие. Я ее по голове глажу, ересь какую-то несусь: мол, Ривка, все образуется, скинемся с ребятами, адвоката найдем... Мы с ней на втором курсе любовь крутили, она меня таким штучкам научила, я только диву давался – откуда наша ветхозаветная Ривка так умеет? А потом у них с Сашкой что-то... щелкнуло. Совпало. И все сразу поняли, и я понял, и Кротов, и Беккер – там больше не надо мельтешить. И какая бы наша Ривка вкусная ни была, и как бы славно она прежде ни давала – туда больше лезть не надо. Там – щелк. Там люди слиплись, как две ириски. На свадьбу только самых своих позвали, человек, может быть, десять, включая родных. Шатер такой, на палочках, над ними держали... Я, конечно, веселился, я же не думал, что у Ривки это искренне (нет, не с Сашкой, упаси бог, – я имею в виду это мракобесие «справа налево»). А потом как-то заехал к ним вечером, сидели на кухне, я привез «Ахтамар». Сашкина вера выпивку поощряет. Кабы не это, так совсем грустно было бы инвалидам пятой группы. У советского еврея жизнь не сахар, осложнена многими обстоятельствами. А ежели и бухнуть нельзя – хоть вешайся. Но им можно. А иной раз – так просто предписано. Так велено набираться, чтобы, как это Сашка говорит, «нельзя было отличить Мордехая от Амана». Короче, сидим на кухне, накатили по первой, по второй. Сидим, как люди, Ривка палтуса пожарила. Я встал, сыра подрезать. Беру ножик из серванта – ножик, как ножик, ручка зеленая, полупрозрачная. Ривка как вскинется! Миша, говорит, извини, это мясной нож. У нее такое лицо было – как будто мир рухнет, если я этим магическим ножиком из «Промтоваров», нарежу нормальный пошехонский сыр.

Им давно надо было ехать. Их бы выпустили, за Сашкой тогда ничего не было. Никакого «распространения», никакого «хранения». Они такие «на выезд», что дальше некуда. Что Сашкин шнобель, что Ривкины очи суламифины. «Let my people go». Но Сашка заявил (Ривка мне все рассказала, когда я ее по голове гладил): «Я обязан помочь. Мне помогли – теперь я обязан помочь». Собрал группу молодых ребят, учил языку, читал им каждую неделю по главе ихнего катехизиса. Ривка этот сумасшедший язык выучила, за полгода выучила. Это ведь Сашка меня заразил Сирийской провинцией. Я как раз тогда прикидывал – что за время выбрать для своего парня. Собирался уже определить его в Реформацию, в сподвижники к Мюнстеру. Мне, собственно, все равно было, какую эпоху сделать задником. Одно требовалось – кризис общественной морали. Но однажды я послушал Сашку и понял, что тот овечий выпас у черта на краю, те глинобитные городки и упертый, воинственный народец – это то, что мне надо. То, что началось в Сирийской провинции в правление Тиберия, поучительнее всякой Реформации. Реформация, елки зеленые, рядом не стояла. Собственно, она стала малозначащей производной, уж простите мне это примитивное понимание теологии. Человеческая мораль была впервые внятно озвучена там, в пыльных городках Самарии и Десятиградия, в кедровых рощах Галилеи, на рынках Кесарии и Сихема, на овечьих выпасах Идумеи! Там, выражаясь выпренно, зародились Большая Мораль и Большая Ложь. Но чего у Сашки не отнять, так это следования фактам. Это, черт побери, марксистско-диалектическая закваска! Тора – Торой, а история – историей. Сашка увидел, что я интересуюсь, и тут же дал мне Юста Тивериадского. А потом еще дал на три дня Ренана. Где взял, а? Настоящий Ренан. Брокгауз и Ефронь, 1912 г. Санкт-Петербург.

Не хило, да? И все. Я заболел тем временем, и все в моей голове встало на места. И я сразу понял, с чего начнет герой и кем он станет...

Сашка с Ривкой в синагогу ходили, на Архипова. Она насквозь гэбэшная, это любой младенец знает. Там все сто раз сфотографированы. В мае Сашку забрали. Пригласили «поговорить». Один раз, другой. На третий раз он у них там остался. Это ладно. Не он первый, не он последний. Но потом он, видно, уперся, и они его в Серпы сунули. А Серпы это жуткое учреждение. Про Йозефа Менгеле знает весь мир. А вот скажите: знает весь мир про профессора Снежневского? Сеня рассказывал, что советские психиатры в мировом медицинском сообществе – парии. Что советские психиатры для западных врачей – гестаповцы. И так получилось еще, что за месяц до того, как они Сашку забрали, Сеня мне дал «Возвращается ветер». Господи, я прочитал, и у меня руки тряслись. Вроде, все знаю, и вообще, чем можно человека удивить после «Архипелага»? А вот прочитал эту книгу, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана» – колотило от ненависти. Звери. Животные. И это же как пророчество – Сеня дает почитать «Возвращается ветер», а через месяц Сашку Лифшица сажают в Серпы. Не знаю, что эти мрази там с ним творили. Просто я ждал, что Сашка окажется – на свидании с Ривкой ли, на суде ли, ну, я не знаю... на лагерной фотографии – измученным, исхудавшим, запуганным. А все же получилось не так. Ривка слезами захлебывалась, ее головенка под моей ладонью тряслась. «Миша! Мишенька! Что же это за зверство, Мишенька?! Он же овощ, он меня узнал с трудом. Что они там делают с ним?! У него губа отвисла, и слюни текут... Гады! Гады! Фашисты, нелюди». Не понадобился адвокат. Сашку вдруг выпустили. Да и не выпустили, а буквально выкинули. И через два месяца они с Ривкой уехали. Я бы проводил, не забоялся. Ривка сама сказала: «Мишенька, не надо. Тебе тут жить. Не светись в аэропорту. Неизвестно, как тут еще все обернется. Сахарова выпустили из Горького, а Марченко так и умер в тюрьме. Нас родители проводят. Они тоже собираются. Мы приедем, устроимся, Сашу в Стране подлечат – и тогда родители подтянутся».

Да чего там. Они сейчас всю эту фигню затеяли, про Сталина пишут в газетах, про поворот рек. А я хочу знать: палачей судить будут? Лицемерие одно. Вранье. И безнадежно это, безнадежно. И всегда нищета будет, и за всем надо в очередях стоять, и если даже денег нароешь – тратить придется украдкой...

Дорохов докурил и подошел к окну. По Варшавке проезжали машины, полз желтый «Икарус» с гармошкой посередине. На площадке одиноко стояла машина экселенца.

«Он в институте, – подумал Дорохов. – Надо показать ему форезы. Он вчера уже скандалил из-за форезов, а сегодня просто убьет».

Дорохов хотел было пойти в комнату Кострова – он там вчера вечером оставил форезы, – но опять сел в жесткое, поскрипывающее кресло.

«И вот получается, что можно от всего этого убежать. А экселенц... Он обаяшка, легкий циник, успешный. Сорок лет, доктор наук, беспартийный, еврей. В контексте эпохи такое словосочетание – «успешный человек, докторнаук, беспартийный, еврей – и все это в сорок лет» – чистейшей воды оксюморон! Катахреза. Сухая вода, холодный огонь, одна из праворадикальных фракций Верховного Совета СССР. Он приедет в Колумбийский университет со своими работами, а работы у него высочайшего уровня. И будет у экселенца человеческая жизнь. Наука, идеологически не подкрашенная, любые реактивы по каталогам, любая аппаратура – только заяви. А парткомов, субботников, «...а потом, досыпая, мыедем в метро, в электричках, трамваях, автобусе, и орут, выворачиваянутро, рупора о победах и добле-



сти...» – вот этого больше не будет. А если говорить прямо: кого экселенц потянул бы за собой? Наше молекулярно-биологическое дело – дело коллективное. Понадобятся верные помощники. Конечно, Серж. И Машка Орлова... Еще Лара Изотова и этот, молоденький... Костя Конин. Продуктивный парень. Ну и я. Да собственно, в первую очередь – я. Хочу я паковать чемодан? Или вот так. Спрявим. Если проще: на что я надеюсь? Нет, я не о величии, не о жизненном успехе. Я о том, чего мне хочется больше всего на свете. Могу я это «больше всего на свете» упаковать в чемодан? Наша с Димоном алхимия – «джентльмен в поисках десятки». Персональное сопротивление советской скудости. Кто я на сегодняшний день? Умеренно способный молодой человек, племянник бывшей жены экселенца. Тетя Таня осталась ему другом, он относится к ней с теплотой, и часть теплоты распространяется на меня. Я нормальный выкормыш, сподвижник и наперсник. Я любимый еврей экселенца. В этой констатации, как сказал бы сам экселенц, «ощущается явный привкус парадокса»: из нас двоих еврей вовсе не я, а определенно он. В прошлом году экселенц спросил: слушай, а чем ты вообще занимаешься? Я опешил – как чем, говорю? Секвенированием триптических пептидов, чем же еще мне заниматься? Это понятно, кивнул он, это на работе. А по выходным? Татьяна говорила, что ты в детстве стихи писал... Я вот вчера вечером подумал – а что там мой Мишка поделяет?

«Мой Мишка». Ну а что? Да, мне приятно, что я «его Мишка». Он яркий человек, незаурядный. Серж как-то хмыкнул: ты, мол, Миха, типичный адепт, ты при Саше Риснере на все сто процентов.

Я люблю смотреть, как он заваривает кофе. Мне вообще нравится смотреть, как он что-нибудь делает руками. Из него получился бы прекрасный ювелир. Или зубной техник. Он любой предмет берет в руки быстро и бережно. И видно, что предмету хорошо в его руках. У него на столе стоит пишущая машинка «Оливетти». Когда он на ней печатает... Он очень интересно выглядит, когда печатает. Нет, ей-богу, можно сказать, что все это своеобразная поэтизация экселенца. Но он – штука. Он особенный. Однажды я увидел, как он печатает на машинке, и сразу вспомнил тот великий фильм. Сенин батя купил в спецмагазине видеомагнитофон. Это же чудеснейшая штука – видеомагнитофон! Заполучить домой мировое кино – вот что такое видеомагнитофон! Сейчас их полно. У Ирки Шмелевой есть видеомагнитофон, у экселенца, естественно, есть. Смотрели с ним летом фильм Боба Фосса «Весь этот джаз». А каких-то пять лет назад иметь дома видеомагнитофон – все равно что держать на кухне спектрограф. Или компьютер. Впрочем, компьютеры-то не такая редкость, у экселенца дома компьютер есть, «Макинтош». В лаборатории у нас есть компьютеры. Кстати, Димон правильно говорит: наше с ним дело попрет, когда в НИИ начнут ставить настоящие компьютеры. Тогда все эти железные шкафы с перфокартами будут списывать. А материала в шкафах на многие килограммы. Так вот, про фильм. Первые две недели Сениного владения видеомагнитофоном мы с мужиками целыми ночами смотрели все, что удалось раздобыть. Про «Queen», где они там в снегу поют «We will rock you». «Греческую смовницу», конечно, «Живи и дай умереть», про Джеймса Бонда... Всякую ерунду, короче. Но смотрели и хорошие фильмы, настоящие – «Гарольд и Мод», «Кто-то пролетел над гнездом кукушки». И вот тогда-то я впервые увидел «Godfather». Я обмирал, когда этот фильм смотрел! Как правильно надо понимать жизнь, чтобы такое снять! Нет, это, как книги Трифонова, ей-богу! Так вот, про то, как экселенц печатает на «Оливетти». Там, в «Godfather», есть один момент: начинается гангстерская война, и бойцы мафиозной семьи «ложатся на тюфяки», в подполье уходят, короче.

И это так здорово снято – кадры намешаны, сквозь одну картинку просматривается другая, все в быстром темпе, крутятся типографские машины, крупные заголовки перечисляют убитых, все стильно, «желто-коричнево», под старую съемку, музыка играет, пианино. И короткий эпизодик, без слов. Так, зарисовка. За пианино, которое невеста как оказалось в квартире с тюфяками, сидит гангстер. Небритая, но вполне культурная морда, расстегнутая сорочка, наплечная кобура. О пианино облокотились еще двое, те еще зверюги, с тонкими усиками. Кажется, что вот сейчас схватят автоматы и пойдут косить. А тот, что играет (там еще звучит то ли регтайм, то ли блюз, короче, что-то жутко американское), – он играет вдохновенно! Устало играет, но и страстно, и в углу рта у него сигара. Когда я вижу, как экселенц печатает на «Оливетти», я почему-то сразу вспоминаю того гангстера за пианино. Ну не бред? И вот он меня спросил: а чем ты вообще занимаешься? Ё-мое, я же всегда «подальше от начальства, поближе к кухне». Но вот когда экселенц снял джеззу со спиртовки, поставил ее на журнальный столик, на красную плетеную болгарскую подставку кружочком, когда он плавно и быстро, ни капли не промазав мимо чашки, разлил густой, с рыхлой пеной, кофе («Арабика», двадцать рублей килограмм), когда сел в низкое кресло (а он и садится ловко: только что стоял – оп! и уже непринужденно сидит). Ну, в общем, когда он спросил меня и чашку с кофе ко мне придвинул... Мне вдруг захотелось рассказать ему про Севелу. Даже Сене я почти ничего не рассказывал. Хоре не рассказывал – а подмывало! Она так чудесно умеет слушать, что я готов часами разливать соловьем. Никому я не рассказывал о своей книге, – а экселенцу бы рассказал...

Уже поздно было, часов девять. Только Серж сидел в своей комнате, и Великодворская возле крутилась. Экселенц меня спросил, а мне вдруг захотелось ему рассказать, какую замечательную историю я придумал, и как я читаю теперь Гая Светония Транквилла, и Эвальда, и Нельдеке, и выживаю оттуда...

Дорохов уже собирался пойти за форезами, как услышал за дверью неторопливые шаги. Дверная ручка повернулась, и вошел экселенц.

\* \* \*

...Плешивый темнил. Он солгал, что давно приглядывает за Севелой. Когда он мог приглядывать? Уже пять лет, как Севела почти не жил в Эфраиме. Когда-то, может быть, приглядывал – когда Севела был мальчишкой. Так он за всеми приглядывает, плешивый рабби. Позавчера плешивый с чего-то остановил Севелу в проулке. Косился, вонючка старая, и шепелявил: «Ты всегда был смышленным парнишкой, молодой Малук», «такие, как ты, выходят в люди, молодой Малук». Битый час, вонючка такая, расспрашивал – как Севеле служит у отца? Да какое ему дело?! «Давно тебя не было видно в городе». Что, ему не известно, что Севела четыре года учился в Schola? Весь Эфраим знает про романскую диплому молодого Малука, а старая вонючка не знает? Почему он темнит? Почему расспрашивает? И с чего заговорил об отце? Это все Эфраим. Тут принято говорить околичностями. Эфраим – город Книги, невеселый и послушный. Не то что Яффа. Там сам воздух свежее от того, что в городе живут иеваним и финикийцы. Нет, воистину, какая же разница между пестрой многоязыкой Яффой и тихим Эфраимом! Всего сотня миль лежит между двумя городами, а кажется, будто сотня лет между ними лежит. И разница эта не деньгами меряется, не в одеждах разница, и не в говоре. Нравы совсем другие в приморской Яффе. Там нет этой упрямой вековой ненависти к чужеродцам. А уж на любимую Александрию Эфраим совсем не походит. Как славно в Александрии. Всю жизнь бы там провел. В тамошнем воздухе и малейшего привкуса нет от овечьего глинобитного захолустья. А в родном Эфраиме, пропади он пропадом, все – захолустье.

А плешивый рабби что-то про Севелу признавал. Зачем это ему?

С тех пор как Севела вернулся, отец, что ни месяц, усылал его из Эфраима. В этом году Севела прожил дома месяца, может быть, три, не больше.

Мама злится на отца, хочет, чтобы мальчик после четырех лет институции побыл при ней. Но отец говорит: «Ты пойми, женщина, – пусть он сам теперь. Пусть научится договариваться с людьми, научится водить обозы в Каппадокию. И за хорошую цену пусть бьется сам! Это нужнее всех лекций. И кстати – когда он в поездках, мне проще избавить его от милуима. Нечего ему мозолить глаза кохенам. Магистрат, женщина, берет на заметку всех молодых людей. Полгода на него еще полюбуются, а потом пошлют в милуим. На общественные работы с дипломой не посылают, а коли объявят призыв – так прихватят и твоего мальчика, женщина. Так что пусть уж он водит обозы. Когда его в городе нет – дам на лапу в магистрате и скажу: путешествует по делам дома».

Поговаривали, что наместник скоро упразднит милуим. Впрочем, говорили и другое: нынешний первосвященник умеет выжимать из романцев большие вольности для Провинции. Объяви синедрион милуим – тогда бы Севела отправился в Идумею, в драные холщовые палатки. Бегать с сопляками в марши со связкой дротикиков за спиной, натирать кровавые мозоли, мучиться потницей и поносами. Не надо бы этого. Ему хватило уязвления плоти во всех видах. Отец, бесконечного ему здоровья, продержал Севелу в черном теле все четыре года институции. Он дотошно высчитал, бережливый рав Иегуда – сколько требуется, чтобы сынишка не подох с голоду, и высчитанного придерживался неукоснительно.

Однокурсники держали выезды, одевались в шелк и лен, давали ужины. А Севела покупал самые дешевые списки и камышовые стилосы, подержанные чертежные инструменты и комковатый воск, которым пользуются рыночные писари. Все эти скудные четыре года институции Севела сэкономил на любой малости. Любому вольноотпущеннику был по средствам лупанарий – но не Севеле, будь оно все проклято! Когда становилось невмоготу, когда ломило в мошонке, Севела начинал пялиться на паланкины матрон. А скучающие распутницы, поймав голодный взгляд студиязуса, норовили, садясь в носилки, подпернуть столу – чтобы мелькнула полная белая голень. Чтобы у студиязуса заходили желваки и он возмечтал о пышных ягодцах и хриплом стоне распластанной вниз животом дебелий жены романского администратора. Тогда он отдавал сбереженные гроши грязноватой голенастой девчонке с окраины.

Но, так или иначе, время это закончилось. Севела вернулся домой, он служит у отца. Тот, надо отдать ему должное, положил большое – прямо сказать, неожиданно большое! – жалование.

И все же – плешивый. Почему он гримасничал больше обычного, и подмигивал, и напускал на себя такой важный вид? Он, верно, расспрашивал людей. Весь квартал знает, что сын Малука закончил обучение и вернулся, чтобы служить у отца. Что там копошилось в плешивой голове рабби, когда он таинственно прошепелявил: «давно тебя не видно»?

Севела в Эфраиме не засиживался. Дважды провожал обоз в Яффу – с овсом и оливами. Отгружал кедр на барки, что рав Иегуда отправлял из Аполлонии и Доры в Понт и Фаселис. Продавал шерсть кушанам (не очень-то приятные клиенты эти кушаны – дикари, и верить нельзя ни в чем; когда рав Иегуда снаряжал для них обоз с шерстью, то нанимал в Батане стражников), пшеницу возил в Десятиградие, там второй год неурожай. Еще плавал в Александрию, где у отца теперь пай в пяти маслoбойнях. А половину зимы Севела прожил в Галилее, у родных. Нет, не просто гостил, конечно. Отец внимательно следит, как идут дела в их большой фамилии. Отцу стало любопытно – с чего это его двоюродный брат из Мегидо, славящийся осторожностью, взял ссуду. Азария Барцум отродясь не рисковал и не брал в долг. Он всегда рассчитывал только на те деньги, что были в кассе. Любое одалживание казалось ему, человеку старого воспитания, ловушкой, рискованным предприятием. Когда отец узнал, что мар Барцум взял у финикийцев ссуду под залог мельницы и присоединил к своему наделу

западный склон холма, – он забеспокоился. Старшему Малуку было достоверно известно, что склон годится под один лишь виноград. И лоза на том склоне растет двухсотлетняя, элитная, из Эшкола, годами лелеянная лоза. Барцумы от века занимались овцеводством, а тут – лоза.

«Погости-ка ты у моего двоюродного брата, яники. Ему будет приятно, – сказал отец. – Ты теперь образованный человек. Может быть, ему понадобится твой совет... И посмотри по сторонам, яники. Может быть, нам следует обратить внимание на виноделие в Галилее? Может быть, Азария знает то, чего я не знаю? Посмотри по сторонам».

Да уж, Севела «посмотрел по сторонам». В деловую поездку отправил рав Иегуда младшего сына, в скучную и сугубо деловую поездку. С первого же дня в поместье Барцумов из всех возможных сторон Севела сразу выбрал одну – ту, где мелькали загорелые щиколотки и подрагивали твердые грудки пятнадцатилетней Ривки Барцум.

«Да, да, дядя Азария, – рассеянно говорил Севела, прохаживаясь с дядюшкой вокруг мельницы, пахнувшей мучной пылью и свежеспиленным кедром. – Вы совершенно правы, дядя Азария. Паевые фонды – это выгодно. За ними будущее».

А сам стрелял глазами вслед за круглой задницей троюродной сестры. Ривка невинно хлопала ресницами, ахая, слушала рассказы столичной штучки, иоппийского почетного стипендиата. На восьмой день, случайно столкнувшись с троюродным братом в овчарне, благовоспитанная дочь мар Барцума просунула узкую прохладную ладонь под полу туники родственника, сжала его член и, хихикнув, прошептала: «Сколько можно болтать попусту, братик?». И куда после этого вылетели из головы Севелы все двести сорок восемь повелений и триста шестьдесят пять запретов? Повалились с родственницей прямо на опилки в пустых яслях. Что вытворяла, бесовка! Где только научилась?! Ох.

В середине месяца аудиная он вернулся в Эфраим. На улице диктатора Камилла (в Эфраиме этот квартал называли люди именем Хасмонеев, и улица это звалась улицей Маттатиаху Хасмонея) он повстречал Амрама, друга детских лет.

– Ну как там Иоппия? – спросил Амрам.

Первые месяцы Севела отчаянно скучал по Яффе, по людному порту, по незатейливым кутежам с однокурсниками, по запаху жареных орехов, что всегда разносился над факультетской улочкой. Эфраим – скучный город. Но в нем, однако, можно жить – если тебя зовут Малук. Севеле нравилось, как с ним здороваются на улицах, нравилось, что соседи по кварталу видят в нем теперь не малыша Севелу, а младшего Малука, отцовского партнера и будущего преемника.

Но этот небрежно-всеведущий тон! (От неловкости был тот тон, от одной только неловкости – это Севела понимал). Мол, не лыком шиты, мол, знаем кое-что о Яффе, как там сейчас, а? И захолустная манера называть Яффу на романский лад – Иоппия. Иоппия!.. Тьфу! Дурачье захолустное! Чтоб отставало от него это дурачье, он подмигивал в ответ – мол, да, суета, колготня в Яффе, беспутный город. Тогда от него отступались.

Он и Амраму ответил:

– Что мне Иоппия? Я домой вернулся. Служу у отца.

Амрам одобрительно кивнул. Не назовись мужлан – Севела, наверное, и не признал бы его.

– Женюсь, – степенно сказал Амрам. – Будь гостем на свадьбе. Ты женат?

Севела виновато развел руками, и оба они рассмеялись. Амрам смеялся оттого, что почувствовал превосходство над образованным, но неженатым еще старым дружком, холостым парнем, сопляком, если рассудить. А Севела – оттого, что удалось скоро закончить натуженный разговор. Он хлопнул Амрама по плечу, они простились, и Севела пошел в контору. Возле магистрата он столкнулся с приказчиком из дома Фирхимов, поболтал с ним.

\* \* \*

Александр Яковлевич Риснер руководил лабораторией номер двадцать восемь уже семь лет. Говорить завлабу «экселенц» придумал Серж Борухов. Он перед майскими праздниками принес в лабораторию ксерокопию «Жука в муравейнике», не жмотничал, давал читать. В «Жуке», как известно, есть такой персонаж – Рудольф Сикорски. Главный герой обращается к нему: «экселенц». В лаборатории это прижилось. Звучало почтительно, но и вместе с тем вольно. По-западному. Риснер обращение принял.

Риснер был талантлив и энергичен. Серж говорил, что экселенц – это А-Янус и У-Янус одновременно, и без какого бы то ни было раздвоения. А Танька Великодворская называла Риснера иностранным словом «менеджер».

– Блестящий менеджер от науки, – важно сказала Танька. – Видит перспективы, знает дело и разбирается в людях.

Риснер относился к сотрудникам по-человечески. Он наваливал на Сержа работу, потом наваливал еще, а потом отходил в сторонку, грустно смотрел на него, склонив набок красивую седеющую голову, и еще наваливал.

– Трудись, Пуржик, – печально говорил Риснер. – Тебе нужно трудиться много. Ты способный. Кому трудиться, как не тебе?

Сержа в лаборатории звали «Пуржик», там атмосфера имела быть совершенно домашняя. Есть гадюшники, где перемывают кости, подставляют ножку и стучат. Есть богадельни, где пьют чай, курят и вяжут. В двадцать восьмой лаборатории на Варшавке работали. Играли на «Макинтоше», когда Риснера не было, менялись книгами – и работали. Здорово выпивали «клюковку» на вечеринках. Риснер декламировал тоном телекомментатора: «Революционный способ получения спирта из опилок разработан учеными НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов! Опилки погружаются в спирт! Выносятся из института! И тщательно отжимаются!» Выезжали на овощные базы, проводили подписку на «Комсомольскую правду». И работали. Трудились продуктивно и беспечно, разговаривали цитатами из «Понедельника» и «За миллиард лет...». В кабинете Риснера под портретом Уотсона было написано стеклогграфом: «Наука это способ удовлетворения собственного любопытства за государственный счет».

И притом, все в лаборатории было по-домашнему. Росли на подоконниках кактусы, на столах стояли фотографии в рамках, праздновались дни рождения и устраивались розыгрыши. У каждого было прозвище. Таньку Великодворскую звали длинно и по-пижонски – «Грейтъярдовская». Дорохова звали «Дор». Сержа Борухова – «Пуржик». Ну и так далее.

Риснер умел накрутить темп, защищались у него четко. Вместе с тем он терпеливо относился к человеческим слабостям. К Великодворской, с ее постоянными опозданиями на работу и общей безалаберностью. Еще экселенц по-христиански относился к Кетино Иремашвили, добрующей полной квочке. Кети божественно готовила хачапури и сациви. Она привозила из дома «Хванчкару» и «Алазанскую долину». Была она сплетница, всеобщая мамочка и ни черта не понимала в поставленных перед лабораторией задачах. Собственно, этой низкозадой, славной, заполошной девушке с усиками нечего было делать в науке. Но папа с мамой из Кобулето определили ее в столичную аспирантуру, и экселенц терпел дуреху и шаг за шагом, стойчески вел ее за руку к защите. Кети хорошо пела. На вечеринках она, не дожидаясь, пока попросят, брала гитару и начинала низко и волнующе: «Виноградную

косточку в теплую землю зарюю». А грузинских песен она знала превеликое множество. Уже ко второй вечеринке все грузинские песни для Дорохова слились в одну – грустную, страстную и бесконечную. Экселенц доверительно жаловался Дорохову: «Когда я слышу грузинское пение, со мной делается родимчик. Эти гортанные рулады жестоко напоминают мне о том, что Иремашвили во вторник опять пережала ферулу. Душевный она человек, но руки у нее не оттуда растут».

Кого еще терпел экселенц? Он терпел Машку Орлову. Машка тоже приходила на работу, когда ей вздумается. Экселенц терпел ее кавалеров, которые перепирались с вахтерами. Терпел ее прогулы и лживые «больничные» (молоденький участковый терапевт был до оторопи влюблен в Машку и готов был выдавать ей больничные хоть еженедельно), терпел ее бесконечное курение в комнате Сержа и распушенный язык. Машка громко рассказывала анекдоты, которые вогнали бы в краску бригаду такелажников. Впрочем, терпеть Машку было не так трудно, она была умница и трудяга со светлой головой, хоть и приходила на работу, когда ей вздумается. И вообще она была отличной девчонкой. Когда восьмого марта гуляли у Великодворской, на Усачевке, Дорохов потанцевал пару раз с Машкой под Поля Мориа. Покурил с ней на кухне и, подогретый «клюковкой», начал фантазировать: не пригласить ли девушку завтра на рюмку чая? Но Машка, тоже хорошо поддав «клюковки», стала доверительно рассказывать про нового кавалера. И видно было, что влюблена по-настоящему. Она была красивая и теплая, но такая своя в доску, что не стоило к ней подкатываться. А за кавалера – Серегу из соседней лаборатории, симпатичного, вежливого парня – Машка теперь собиралась замуж.

Кто еще испытывал терпение Риснера? Маугли! Это был тот еще крендель с маком! Его звали Раджав, он приехал из Бомбея. Худенький, смуглый, с печальными карими глазами. Первый год аспирантуры он ходил в черном тюрбане. Летом всей лабораторией выехали на семинар в Пущино, устроили пикник с купанием на Оке. Оказалось, что у аспиранта из Бомбея под тюрбаном особым образом намотаны длинные волосы. Перед тем как боязливо зайти в воду, он бережно размотал тюрбанчик, и на смуглую спину скользнул блестящий тяжелый жгут. «Во дает! – ахнула спелая белокожая Машка. И добавила с материнской ноткой: – Маугли».

На втором году аспирантуры парень подстригся «под канатку» и приобрел нормальный облик. Русского поначалу не знал совсем, а английский его был, деликатно выражаясь, своеобразен. То есть говорил аспирант Начьяпандра бегло и английскую речь понимал. Беда в том, что язык, на котором бойко лопотал аспирант в чалме, занимал отдельное место в мировой лингвистике. Маугли курлыкал и булькал, время от времени из его рта вылетали смутно узнаваемые звуко сочетания. Был даже тест на способность общаться с Маугли: кто с первого раза соображал, что такое «пети-пай» (thirty five), общаться с аспирантом мог. Таких звали в переводчики, когда беседовали с Маугли. Ко второму году Маугли заговорил по-русски, и оказалось, что парнишка юморной и компанейский.

А еще в лаборатории работала Хорькова. К ней Риснер относился тепло и уважительно. Оля Хорькова была «особой, приближенной к императору». Риснер приглашал ее в кабинет, когда принимал зарубежных коллег. Он и сам нормально спикал, но с «софт рашн эксент». А Хорькова журчала по-английски так, что подтянутые сухонькие профессора из Йеля и Стэнфорда чувствовали себя как дома у мамы. Через полгода после знакомства Дорохов спросил у Хорьковой: «А откуда, девушка, у нас такой английский?»

Она ответила: «Училка была фантастическая. У нас все в классе на английском думали. И никаких репетиторов. Наша Анна Яковлевна всех вышколила, как Павел

Первый. У нас в девятом классе неприличным считалось Голсуорси не читать на языке. Чесс-слово».

Когда тетя Таня устроила Дорохова в двадцать восьмую лабораторию, Сеня сказал: «К Риснеру попал? Ох, елки-палки, Москва маленький город! У Риснера Хорькова работает. Мы десять лет в одном классе. Ты с ней подружись, клянусь! Девушка умная до неприличного».

Хорькову в лаборатории звали «Хоря» и «Хоречка». Ее и в школе так звали. Сенины одноклассники из шестидесятой школы, что на Герцена, за бывшим «Стойлом Пегаса», несколько раз в году собирались у преподавательницы английского. Прозвище у нее странное – «Лошадь». Ничего, впрочем, от лошади не было в жизнерадостной интеллигентной старушенции. Когда Дорохов оформился в отделе кадров, Сеня позвал его с собой к «англичанке».

– Неловко как-то, – смущенно сказал Дорохов. – Я же там никого не знаю.

– Все очень ловко, – отмахнулся Сеня. – И с коллегой познакомишься. Я Хоречку очень люблю, Миха. И ты полюбишь. Она редкий человечек.

В скромно обставленной двухкомнатной квартире в Староконюшенном Дорохова представили Анне Яковлевне.

– Очень рада, – тепло сказала «англичанка». – Проходите, Миша. Сейчас вам чаю нальют... Девочки! Налейте ребятам чаю! Есть коньяк, хотите? Вы чем занимаетесь, Миша?

– Он будет работать вместе с Хорей, Анна Яковлевна. Его распределили в Институт генетики, в лабораторию Риснера, – сказал Сеня, снимая тяжелое драповое пальто с каракулевым воротом.

*Сеня носил дурацкое «номенклатурное» пальто. Вова Гаривас это пальто называл: «группа товарищей»: «...в аэропорту Домодедово Леонида Ильича встречали Константин Устинович Черненко и Юрий Владимирович Андропов с группой товарищей».*

– Я отлично помню Сашу Риснера, – сказала старушка. – Он ведь тоже учился в нашей школе. Он теперь известный ученый. А был такой худенький, трогательный. Оленька! Иди познакомься с Мишей, он распределился к Саше Риснеру.

В прихожую вышла маленькая полная блондинка. И с первого взгляда на нее Дорохов почувствовал, что жизнь подарила ему чудесное знакомство.

Хоря располагала к себе любого, располагала сильно и сразу. Встретив таких людей, хочется им нравиться и их интересоваться. Лицо тонкое и светлое. Серые глаза, правильный носик, насмешливые губы.

(Когда Сенин отец купил видеомагнитофон, и вся компания насмотрелась западных фильмов, Дорохов неожиданно понял, на кого Хоря очень похожа – на молоденькую американскую актрису Джоди Фостер.)

Вскоре Дорохов стал заезжать к Хоре по вечерам – потрепаться, попить чаю на чистенькой крохотной кухне. Хоря жила в Очаково, с мамой. Человечек она была крайне сдержанный и самодостаточный. И дружила, несмотря на молодость, с известными людьми – с Мамардашвили, с Сойфертом, с Львом Разгоном. Это, кстати, Хоря рассказала Дорохову, что милейшая Анна Яковлевна была переводчицей в Испании, в достопамятное время того колокола, который прозвонил по всем романтикам, что только есть на свете. Анна Яковлевна лично знала Кольцова, Мате Залку, Андре Марти. А потом – четырнадцать лет в казахстанских концлагерях.

Дорохов провел на кухне у Хори многие часы. Пил чай, попивал коньячок. Постукивая ладонью по столешнице, напевал ей свое любимое:

А над Окой летят гуси-лебеди.

А над Окой кричит коростель.  
А тут по наледи да курвы-нелюди  
Двух зэка ведут на расстрел...

И еще он ей читал:

В брюхе «дугласа» ночью скитался меж туч  
И на звезды глядел.  
А в кармане моем заблудившийся ключ  
Все звенел не у дел...

Хоря, глядя в глаза, внимательно дослушивала и тоже ему читала:

Родиться бы сто лет назад  
И – сохнущей поверх перины –  
Глядеть в окно и видеть сад,  
Кресты двуглавой Катарины...

Словом, они подружились. Но по-особенному. Хоря слушала, шутила, сама рассказывала. Но близко не подпускала. Умела мило общаться, но к себе не подпускать. О ее личной жизни Дорохов не знал почти ничего. Не знал, есть ли у нее друг сердца (пару раз, впрочем, какой-то рыжий заморыш встречал ее на проходной, Дорохов шутливо спросил, но Хоря категорически не поддержала). О ее семье Дорохов знал только то, что видел – маму, замужнюю сестру, работавшую на шереметьевской таможне, и отца, который много лет был в разводе с ее матерью, но с Хорей был близок. Хоря занималась интерлейкинами. В марте ей предстояла предзащита. О жизненных планах Хоря говорила уклончиво, отшучивалась. Но кое-что проскальзывало. Так Дорохову казалось. Почему-то ему думалось, что Хоря свое будущее никак не связывает с лабораторией на Варшавке. И с Москвой не связывает, и с СССР. Обо всем, что происходит в отечестве, она говорила с равнодушным презрением. Хотя так все говорили, все так шутили: «по-советски-молодецки», «зато мы делаем ракеты и покорили Енисей», «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». А Хоря казалась Дорохову человеком, который все для себя решил. В отличие от говорунов, готовых балагурить в институтских курилках, Хоря все просчитала по-настоящему. И еще Дорохову казалось, что она не хотела, чтобы дурацкая случайность, ненужный конфликт помешали ей однажды сделать неуловимое движение... И оказаться по ту сторону реки, подальше от очередей, подальше от «Морального кодекса строителя коммунизма».

Хоря как-то сказала: «Жизнь, Мишка, дается человеку только один раз. И прожить ее нужно там».

Сеня, разумеется, растрепал Хоре, что Дорохов «пишет». Весной, заехав к Хоре на вечерний чай, Дорохов увидел тот номер «Юности» трехлетней давности. Номер лежал на кухонном столе.

– Что? – осторожно спросил Дорохов. – Разбор полетов?

Хоря рассмеялась. (Она приятно смеялась, негромко, как колокольчик.)

– Сенька предупредил, что ты будешь щетиниться, – она поставила на плиту чайник. – А что сейчас пишешь?

– А может, я сейчас и не пишу ничего, – буркнул Дорохов.

– Быть того не может. Спорим, что пишешь? Есть хочешь? Яичницу сделать?



– Нет, спасибо. Это тебе Сеня дал?

– Ты про журнал? Сама нашла. Лимон клади. Мне понравилось. Особенно хороши диалоги. Как у Хемингуэя.

– Ему платили построчно, – усмехнулся Дорохов. – Оттого и диалоги. Он тот еще был делег, между прочим.

– А тебе сколько за это заплатили? – неожиданно спросила Хоря.

– Сто восемьдесят рублей, – оживился Дорохов. – Я даже не ожидал.

\* \* \*

...на свадьбе танцевали хору. Еще бы! Амрам был из периша, Севела знал, что так и будет – хора, насупленные лица стариков и топотание в такт барабану. Севела – с детства, с того времени, когда был подростком, когда мог уже хоть что-то понимать в лицах и людях – не любил ветеранов, облезлых бородачей с сердитыми глазами. Воинственное старичье, они вызывали у Севелы только опасливую неприязнь. Топочут, воинственные старикашки. Тоскуют, поди, по тому времени, когда у них были силы, чтобы заваривать кровавую жуть, чтобы правомерно резать и богопослушно жечь. Угрюмое следование Книге – вот вся их жизнь. А случись такое, дай им Предвечный еще одну молодость, еще малую толику сил – так опять будут резать и жечь. И жених, дуралей, туда же: когда во дворе раздалось гулкое постукивание, и гости постарше, понимающе переглянувшись, стали выходить – Амрам сдвинул густые брови и выпятил подбородок. Он так показывал невесте, что дух Маккавеев жив в их семье. А девочка была темная пастушка из Самарии. Тихонькая, неприметная, из *правильных*. Отец арендатор, живет масличной рощей. Севела на дух не терпел забитых деревенских тихонь. Амрам женился на *правильной* девушке. Что на такой жениться, что пинками загнать еще одну овцу в кошару – разницы нет.

Во дворе танцевали хору. В администрации наместника на хору смотрели сквозь пальцы. Хора была одной из «окраинных» вольностей, которую дозволяли романцы, это Севела знал. Четыре года в Яффе научили Севелу видеть Провинцию из отдаления. Для обычного жителя Эфраима мир за пределами Провинции был страшным и иллюзорным. Оттуда приплывали огромные корабли с рыжебородыми, светлоглазыми многобожниками, налетали на тонконогих конях безжалостные парфяне, приходили, грохоча маршевым шагом, легионы романцев. Безбожие и опасность – только это и было за пределами Провинции.

Но то знал обычный уроженец Эфраима, а Севела – случилась же ему такая удача! – на четыре года вынырнул из глинобитного убожества... Он знал другое. Знал, что седая старина называется «история», что в ней есть имена и даты. Он теперь знал, что было в этой земле, которая зовется Провинцией, в последние пять сотен лет. О зелотах знал, о Хасмонеях, о столетиях Неволи Египетской, о том, как романцы с великой кровью, упрямо и трудно, подминали под себя гористую пустынную страну, что лежит между Аравией и персами.

Со времен легата Кая Созия романцы не нежничали с «непримиримыми». Партизан распинали безо всяких разговоров. Дважды уличенные в нелояльности высылались в безводную Мармарику. А вполголоса повспоминать славные времена Хасмонеев – что ж, это дозволялось. Разрешалось потоптаться под стук барабана, посверкать глазами и после разойтись по городским усадьбам и глинобитным домишкам.

Отец считал, что администрация поступает умно, негласно дозволяя хору.

– Романцы правильно рассудили, – с усмешкой говорил он. – Пусть люди расходуют воинственность в хоре. Пусть люди грозно пляшут. Пусть напляшутся досыта. Пусть пляшет весь дом Израиля. Пляшет до полного изнеможения! А поутру пусть возвращается к делам.

Квартальные после аккуратно отписывались: такого-то дня такого-то месяца в таком-то доме собирались люди по случаю бармицвы младшего сына хозяина, люди танцевали танец,

так называемый «боевой», но нарушения общественного спокойствия не было, имена гостей прилагаются. И через пару дней рабби квартала отзывал в сторону хозяина дома и делал благодушное внушение. А хозяин, чрезвычайно гордый тем, что его насупленное геройство не осталось незамеченным, уверял рабби, что праздник был узкосемейным. И предвкушал, как будет сдержанно отвечать на вопросы соседей по прилавку или товарищей по цеху: «Что ж, да, трое ветеранов почтили вчера мой дом. Был рав Цоер. Да, тот самый, из отряда Менахема Галилейского. После стола, конечно, был *танец*. А что тут странного? Вам прекрасно известно, мар Симон, что наша семья в достопамятное время держала сторону Антигона-Маттития».

Когда началось топотание, Севела встал из-за стола и ушел в сад. Там, шипя и потрескивая, чадно горели площадки с маслом. На низких скамеечках под платанами сидели молодые люди, друзья жениха. Севела узнал нескольких. Чудо, что узнал – мальчишки, с которыми он ходил в иешиву, плутовал, дрался, воровал виноград, репу и оливы, теперь уже были мужчинами, заматеревшими и бородатыми. Севелу тоже узнали, два раза окликнули, улыбнулись, махнули рукой. Странное дело – Севела вдруг мимолетно, *вскользь*, почувствовал себя подомашнему, почувствовал себя своим. Видно, что-то осталось в нем от того парнишки, каким он покинул Эфраим. Под платанами сидели его давнишние дружки. Пастухи, виноградари, гончары, контрабандисты и ам-гаарец. И он тоже был ам-гаарец, и это, может быть, осталось в его взгляде, походке, повадках. Недаром ему кивнули, молчаливо признали за своего. Может быть даже, здесь сидели те, кто помнил, какой шорох наводили в квартале Севела с Кривым Ицхаком, всем известные «колючие ребята». Севела взглядом поискал Ицхака, особенно и не надеясь найти. Да чего там, не мог Кривой здесь оказаться. Амраму немного радости было бы от такого гостя. Кривой уже в четырнадцать лет был безудержным. Он воровал – и тем жил. Он безжалостно дрался – и тем жил. Он плевал на все.

*«И если будет у человека сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, и наказывали они его, но он не слушал их ...»*

И тем страннее было все это видеть, зная, что отец Кривого был кохен, человек праведный и властный. Кривой обокрал семью и поселился в окраинных трущобах. А до этого отец розгой и кулаком вбивал в него Книгу. Кривой знал Книгу не хуже иного кохена. Он жену старшего брата растлил – даром, что сладострастная баба была выше него на голову и тяжелее вдвое. Вот удалец – щенок, и стручок не вырос, а попользовал взрослую бабу! И когда все расписывал дружкам, так еще и приговаривал из «Ахарей»: *«Наготы жены брата твоего не открывай: это нагота брата твоего»*. Он верен был одним только дружкам. Однажды Кривой, Севела и Гамаль выследили менялу из квартала Ур. Крадучись шли за ним, потом Ицхак рванулся вперед, ударил высокого мужчину свинчаткой в затылок, натянул ему на голову плащ. Они повалили менялу в пыль и избili. Кривой сорвал с пояса саддукея полотняный кошель. Человек жалобно завизжал, на шум прибежали стражники, человек пять. Они разом привычно перебросили на спины ножны, одним движением смотали в жгут шерстяные плащи – чтобы не мешало бежать, броситься в рывок, но и чтобы накрутить на руку плотный узел, могущий защитить от выпада ножом. Они выскочили из-за угла, поднимая сандалиями клубы пыли, и молча, не тратя мгновений на оклик, бросились к ам-гаарец. Севела тогда мгновенно сообразил – только бегство! Они с Кривым и Гамалем были тертые, колючие, они были ам-гаарец. Они давно уже без боязни заходили в таверны и весело резались на ножах с окраинной рванью. Но они щенки. А в городскую стражу берут после двадцати лет, это хожалые мужчины. Стражников не сбить наскоком и не испугать. Оставалось Севеле только бежать. Не раздумывая, не сговариваясь – бежать, сколько есть ног и сил. Севела метнулся к полуразвалившейся стене, швырнул, расцарапав живот, тело через стену и понесся. Побежал, перескакивая через кучи мусора, спотыкаясь о корзины, ударяя плечом в ветхие калитки, сшибая с ног людей нищего квартала, где только дешевых шлюх и мог искать меняла. Севела убежал, ему повезло. И Гамалю повезло – он прыгнул сквозь кусты, свалился в канаву и замер там, в гнилой воде,

рядом с вздувшейся дохлой псиной. Гамаль долго пролежал в канаве, его вырвало от нестерпимого смрада, он окунул голову в глинистую воду, чтобы стражники не услышали, как он там регочет. А вот Кривому не повезло. Его скрутили, стянули ремнями локти, пинали в живот и в пах, отволокли в участок. И там Кривому досталось мучений. Меняла успел заметить, что ам-гаарец трое, и Кривого допытывали про дружков. После Севела узнал, как оно было. Отцу все рассказали, один из стражников оказался братом отцовского приказчика. Первый день был самым тяжким. Ранним утром пришел дознаватель, положил на столик табличку и стилос, поставил кувшин с водой. Кривого притащили и бросили на пол. Его били весь день. В перерывах стражники пили воду и ели козий сыр с ячменными лепешками. Кривому сыра не предложили. Ему даже воды не дали в первый день, только били. Когда парень захрипел и обмочился с кровью, его зашвырнули в чулан с земляным полом. Наутро пришел врач, окатил бредящего Ицхака водой, промял ребра, сказал, что три ребра сломаны и чтобы с левой стороны сегодня не били. Дознаватель сломал Кривому оба мизинца и шевелил ими. Ицхак хрипло выл, судорожно дергал ногами. Он плевал в дознавателя, бормотал: *«...а человек, который нанесет увечьеближнему своему, как сделал он, так пусть будет сделано с ним, перелом заперелом, око за око, зуб за зуб: какое увечье нанесет он человеку, такое жедолжно быть нанесено ему»*. Дознаватель поливал Кривого водой и скучно говорил: «Отдай дружков, парень. Взяли тебя, так отдай дружков. Должен быть порядок. Хочешь некалечным выйти, так отдай дружков...»

Ицхак не отдал друзей. Следствие выдержал, угнали в Негев. Вернулся с ирригационных работ – иссохший, желтый, с левой стороны трех зубов не было. Чуть не сдох от кровавого поноса, большой палец гноился на левой стопе. Рафаил, старший брат, тогда окончил курс, он вылечил Кривого от костного нагноения. Рафаил тайком проводил Кривого в госпиталь по ночам, совал ему в зубы щепу, чтобы парень кричал потише. Расковыривал рану, вылуцивал гнилые кусочки кости, накладывал повязки с бальзамами. Кривой отмочил струпья в микве Малуков, отмылся, соскреб паршу. Отец и бровью не повел, когда Кривой объявился в доме, – у сына гостит друг; друзья бывают разные, бывают ухоженные и упитанные, а бывают завшивленные, в рваных туниках, изможденные, с грязной повязкой на правой стопе. Всякие бывают друзья. Но если сказал, что он друг – так принимай его и со вшами, и оборванного, и с дурной репутацией. Рав Иегуда тогда равнодушием оказал полное доверие сыну. Севела смотрел на Кривого с восхищением. Не отдал его Кривой, и Гамала не отдал! Ирригационные работы выдержал, и изнасиловали его, конечно, в участке, и били страшно и долго – а не отдал! Восемь месяцев оттрубил там, где люди превращаются в кости, завернутые в пергамент, где люди падают в пышущий песок, и их тем песком присыпают, где только белое небо и белый жгучий песок с желтыми камнями. Но не отдал ведь страже Севелу с Гамалем звереныш! Нет тех слов в Книге, какие бы ни оплевал и ни обгадил своим языком и всей вседневной жизнью звереныш! Но что-то было такое в мутной душе, что муки его не сломали, и дружков не отдал. Он был вор, по крови – вор, по *высшему назначению* – вор. Нож пускал в ход, не задумываясь. Неосторожных соплюх притискивал и валял по темным углам и в глухих рощах.

Дрался он отлично, бешено дрался. Выходил один – против двоих, против троих. Левый глаз у него был бельмом затянут, – ну так это ему ничуть не мешало, он и одним глазом видел за двоих. Коли была охота драться, так он не раздумывал. Нагло ухмылялся, метко плевал противнику в лицо, чтобы обозлить, и сразу бил. В глаза бил, в кадык, стопой в пах. Дрался до конца, пока глупыш, что с ним связался, не валился в серую уличную пыль, выхаркивая кровь.

Он был нестигаемый, Кривой Ицхак. Он грязный был и подлый, опасный и изворотливый. Но что-то в нем было от подлинных левитов. От самарийских партизан, которых тысячами распинали солдаты Помпея. От людей Аристобула, что до последнего бились с победной когортой Корнелия Фавста. От фанатичных, ни в грош жизнь не ставивших, что некогда ворвались в землю Кнаан, что-то в нем было. И от тех преданных и убежденных что-то было

в насмешливом уголовнике, что, «опоясавшись мечами», прошли, пропахали лагерь Моше, деловито закалывая предателей, жалких золотолюбцев, смердящих губителей духа Израиля. Кривой был шпана и вор, насильник и безбожник. Но стержень в нем есть – тот самый стержень, на который возможно нанизать честь и славу. Ему бы в легионarii. Мог бы попасть в квоту для уроженцев и стать легионарием. До триария он бы дослужился непременно – один поход, и быть ему триарием. Но в легионе дисциплина, а это не для Кривого. Но *стержень* в нем был.

А в туповатом Амраме стержня не было и быть не могло. И в иоппийских однокурсниках Севелы тоже. И в друзьях Рафаила – небедных и изнеженных молодых людях, напудренных, чернящих волосы миртовым вином и отварной кожицей порея. Или в отбеливающих волосы укусными дрожжами и маслом мастикового дерева, завсегдатаев театра и литературных кружков, говорунов, с выщипанными на руках волосами, в приятных молодых людях из карнавально-беспечной Байи – в них тоже не было *стержня*.

Словом, Кривого Ицхака Севела не нашел в вечернем саду.

Надо будет завтра зайти к его отцу, подумал Севела, может быть старик что-то знает о Кривом.

Севела взял с дощатого стола медный стакан, сам налил себе вина из жбана. Осмотрелся, выискивая, где бы присесть.

Тут его позвали.

– Севела! Адон Малук!

Севела обернулся. К нему, приветливо улыбаясь, шел худощавый мужчина с лицом тонким и бледным, выбритым по романской моде.

– Да, я Малук, – сказал Севела. – Младший сын рав Иегуды.

– А я учился со старшим сыном рав Иегуды, – обрадовался мужчина. – Я Нируц. Тум Нируц. Мы были в одной иешиве с Рафаилом.

Севела вежливо кивнул.

– Как живут твои домашние? – спросил Нируц.

– Отец много трудится, – сказал Севела. – Рафаил сейчас в отъезде. А в нашем доме все благополучно.

Мужчина мягко взял Севелу за локоть и сделал несколько шагов по дорожке.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.